***О ДЕЛЕНИИ ЛЮДЕЙ НА РАСЫ….***

Я вижу нашу комнату в домике на Покровской горе: тогда она казалась мне огромной, потому что свет керосиновой лампы не в силах был растопить темень в ее углах. Я сижу за столом, и мой подбородок упирается в книгу. Бабушка только что научила меня читать (подозреваю, чтобы я ей не мешал), и я громко читаю, а за столом чинно пьют чай старые женщины. На столе — колючий колотый сахар, черный хлеб и бабушкино печенье из ржаной муки, и хотя в стране нэп и лавки ломятся от товаров, у сидящих за столом нет денег на эти товары.

— Ай, какой хороший мальчик! — Худая, коричневая от бесконечных стирок рука ласково гладит меня по голове. — Нет, вы только послушайте, как громко он читает!

— Пусть мадам Мойшес не обижается, но нельзя же каркать в ухо русскому ребенку, — строго говорит рыхлая белесая дама. — Он научится картавить раньше, чем петь свои детские песенки.

— Ай, пани Ковальска, вы стали специалисткой по-русски? Так с вас же он всю жизнь будет говорить «койбаса» и «уошадь». Ну скажите мне, мадам Урлауб, разве я говорю неправду?

— Мадам Алексеева — артистка, она была в Париже и за границей, и она все объяснит, — решает третья гостья.

— Не так важно, как говорить, а важно, что говорить, — вступает бабушка, и все вежливо перестают пить чай. — А люди делятся только на мужчин и женщин, и если ты родился мужчиной, то будь им, а если женщиной, то тем более.

А я громко читаю, еще не ведая, что плыву на плоту и что люди делятся не на русских, поляков, евреев или литовцев, а на тех, на кого можно положиться и на кого положиться нельзя. Это проверенное деление: плот только-только оправился от урагана, имя которому «гражданская война», и его пассажиры очень хорошо знают, что значит всегда быть настоящим мужчиной, ну а женщиной — тем более.

***Об исторической памяти, патриотизме, роли детства, влиянии наставника***

Мою первую учительницу звали… К стыду своему, я не помню, как ее звали, но помню ее. Худощавая, строгая, ровная, безулыбчивая, всегда одетая в темное, из которого ослепительно вырывались белоснежные воротнички и манжеты, она представлялась нам, первоклашкам, очень старой, из прошлого века. И в один из общевыходных она велела собраться у школы, но не всем, а тем, кто хочет «пойти на экскурсию». Я хотел, пришел одним из первых; учительница пересчитала нас, вывела к знаменитым смоленским часам, под которыми назначались все свидания и от которых шло измерение во всех направлениях, и погрузила в маленький, шустрый и звонкий смоленский трамвай. И мы покатили вниз, к Днепру, по Большой Советской. Миновали Соборную гору, выбрались через Пролом из старого Смоленска, переехали по мосту через Днепр и сошли у рынка. И под предводительством первой учительницы переулками, садами и дворами вышли… к дубу.

— Это самый древний житель нашего города, — сказала первая учительница.

Может быть, она сказала не теми словами, сказала не так, но суть заключалась в том, что этот дуб — остаток священной рощи кривичей, которые жили в Гнездово, неподалеку от Смоленска, где и по сей день сохранилось множество их могильных курганов. И что вполне возможно, что Смоленска в те далекие времена еще не существовало, что возник он позднее, когда по Днепру наладилась регулярная торговля, и именно здесь, в сосновых берегах, удобнее всего было смолить суда после длинных и тяжелых волоков. Смолили суда, молились богам в священной роще и плыли дальше из варяг в греки. И постепенно вырос город, в названии которого сохранился не только труд его первых жителей, но и аромат его красных боров.

Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. Ей-богу, я помню до сей поры его грубую теплоту: теплоту ладоней, пота и крови моих предков, вечно живую теплоту Истории. Тогда я впервые прикоснулся к прошлому, впервые ощутил это прошлое, проникся его величием и стал безмерно богатым. А сейчас с ужасом думаю, каким бы я стал, если бы не встретился со своей первой учительницей, которая видела долг свой не в том, чтобы, нафаршировав детей знаниями, изготовить из них будущих роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать Граждан Отечества своего…

***Об исторической памяти, образовании и образованности***

…Много лет спустя на встрече с молодыми учеными в столь же молодом — даже кладбища своего не было, о чем мне с гордостью поведали организаторы встречи, — городе меня спросили, а зачем-де нужна история в век научно-технической революции, то есть в век качественного скачка человечества? Чему может научить современного специалиста отвага давно отшумевших битв и дальновидность давно истлевших правителей? Да и наука ли вообще эта самая История, коли она с легкостью выдает сегодня за черное то, что еще вчера считала белым? Вопросы задавались с технической точностью и продуманностью, аудитория затаенно ждала, как я выкручусь, а я с горечью думал, *каким же провидцем оказался бестелесный Козьма Прутков, сказав, что «специалист подобен флюсу». И понял, что мудрость и ученость разнятся между собой, как нравственность и знание статей Уголовного кодекса.*

*История не позволяет человеку остаться варваром, даже если он сделался крупнейшим специалистом в области ультрасовременной науки. У нее для этого, по крайней мере, два спасительных аргумента: во-первых, все уже было, а во-вторых, знания не делают человека умнее, несмотря на всю их ослепительную новизну. Некий усредненный современник наш знает сегодня несравненно больше, чем знали образованнейшие люди сто лет назад, но означает ли это, что усредненный современник наш стал умнее Герцена лишь оттого, что его мозг хранит бездну необязательной информации? Так история — я уж не говорю о ее нравственном воздействии — спасает нас от спесивой самоуверенности полузнайства.*

 ***Об исторической памяти, истинном патриотизме, духовности***

Никольская улица, уже тогда переименованная в улицу Декабристов, упиралась в Никольские ворота крепости. И над этими воротами в выбоине стены лежало ржавое французское ядро. Лежало не музейным экспонатом, не туристским сувениром Суздаля — лежало боевым документом прошлого: так, как упало, и в том месте, где встретила стена выстрел наполеоновского артиллериста.

В городском парке — старом Лопатинском саду моего детства — до войны сохранялись мощные руины средневековой темницы с остатками решеток толщиной в детскую руку. Когда-то в ней томились генеральный судья Сечи Запорожской Василий Кочубей со своим верным Искрой, несчастный царевич Иоанн Антонович — «Железная маска» русской истории, пленные поляки при Екатерине Второй. На каменной плите подоконника неровными буквами выбил свое имя несчастный узник…

***Роль детства в становлении личности***

Человек живет для себя только в детстве. Только в детстве он счастлив своим счастьем и сыт, набив собственный животик. Только в детстве он беспредельно искренен и беспредельно свободен. Только в детстве все гениальны и все красивы, все естественны, как природа, и, как природа, лишены тревог. Все — только в детстве, и поэтому мы так тянемся к нему, постарев, даже если оно было жестким, как солдатская шинель.

— Нет уже тех деревьев, под которыми ухаживал мой отец, — с тоскливой горечью поведал мне как-то один старый человек.

Нет уже тех деревьев, ибо «ВСЕ ПРОХОДИТ», как было написано на перстне царя Соломона. Все — кроме детства. Оно остается в нас пожизненно, потому что если «КТО ТЫ?» — плод взрослой твоей ипостаси, то «КАКОЙ ТЫ?» — творение детства твоего. Ибо корни твои в той земле, по которой ты ползал.

**О роли личности, наставничества в становлении личности, о нравственном выборе, истинных ценностях, смысле жизни, об отношении к вещам**

А меня так ждали! Войны вырывали мужчин из женских объятий, а в краткие мгновения, когда мужчины возвращались, ожесточение, опасности и стрельба за окном мешали любви и нежности: между мужчиной и женщиной лежал меч, как между Тристаном и Изольдой. Дети рождались неохотно, потому что мужчины не оставались до утра, и женщины робко плакали, провожая их в стылую темень. А смерть меняла одежды куда чаще, чем самая модная модница, прикидываясь сегодня тифом, завтра — случайной пулей, послезавтра — оспой или расстрелом по ошибке. И на все нужны были силы, и на все их хватало. На все — кроме детей. И я забрезжил как долгожданный рассвет после девятилетней ночи.

А маму сжигала чахотка.

И меня и маму спас один совет. Он был дан тихим голосом и больше походил на просьбу:

— Рожайте, Эля. Роды — великое чудо. Может быть, самое великое из всех чудес.

Через семь лет после этих негромких слов доктор Янсен погиб. Была глухая дождливая осень, серое небо прижалось к земле, и горизонт съежился до размеров переполненного людьми кладбища. Мы с мамой стояли на коленях в холодной грязи, и моя неверующая матушка, дочь принципиального атеиста и легкомысленной язычницы, жена красного командира и большевика, истово молилась, при каждом поклоне падая лбом в мокрую могильную землю. И вокруг, всюду, по всему кладбищу, стояли на коленях простоволосые женщины, дети и мужчины, молясь разным богам на разных языках. А у открытого гроба стоял инвалид — краснознаменец Родион Петров и размахивал единственной рукой с зажатой в кулаке кепкой.

— Вот, прощаемся. Прощаемся. Не будет у нас больше доктора Янсена, смоляне, земляки, родные вы мои. Может, ученей будут, может, умней, а только Янсена не будет. Не будет Янсена…

…О, как я жалею, что я — не живописец! Я бы непременно написал серое небо, и мокрое кладбище, и свежевырытую могилу, и калеку-краснознаменца. И — женщин: в черном, на коленях. Православных и католичек, иудеек и мусульманок, лютеранок и староверок, истово религиозных и неистово неверующих — всех, молящихся за упокой души и вечное блаженство не отмеченного ни званиями, ни степенями, ни наградами провинциального доктора Янсена…

Я уже смутно помню этого сутулого худощавого человека, всю жизнь представлявшегося мне стариком. Опираясь о большой зонт, он неутомимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку, куда входила и неряшливо застроенная Покровская гора. Это был район бедноты, сюда не ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было. А были неутомимые ноги, великое терпение и долг. Неоплатный долг интеллигента перед своим народом. И доктор бродил по доброй четверти губернского города Смоленска без выходных и без праздников, потому что болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных, а доктор Янсен сражался за людские жизни. Зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днем и ночью.

Доктор Янсен смотрел на часы, только когда считал пульс, торопился только к больному и никогда не спешил от него, не отказываясь от морковного чая или чашки цикория, неторопливо и обстоятельно объяснял, как следует ухаживать за больным, и при этом никогда не опаздывал. У входа в дом он долго отряхивал с себя пыль, снег или капли дождя — смотря по сезону, — а войдя, направлялся к печке. Старательно грея гибкие длинные ласковые пальцы, тихо расспрашивал, как началась болезнь, на что жалуется больной и какие меры принимали домашние. И шел к больному, только хорошо прогрев руки. Его прикосновения всегда были приятны, и я до сих пор помню их всей своей кожей.

Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, чем можно себе вообразить в наше время. Уже прожив жизнь, я смею утверждать, что подобные авторитеты возникают стихийно, сами собой кристаллизуясь в насыщенном растворе людской благодарности. Они достаются людям, которые обладают редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться не о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду, как бы горька она ни была. Такие люди перестают быть только специалистами: людская благодарная молва приписывает им мудрость, граничащую со святостью. И доктор Янсен не избежал этого: у него спрашивали, выдавать ли дочь замуж, покупать ли дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с женой… Господи, о чем его только не спрашивали! Я не знаю, какой совет давал доктор в каждом отдельном случае, но всех известных ему детей кормили по утрам одинаково: кашами, молоком и черным хлебом. Правда, молоко было иным. Равно как хлеб, вода и детство.

Святость требует мученичества — это не теологический постулат, а логика жизни: человек, при жизни возведенный в ранг святого, уже не волен в своей смерти, если, конечно, этот ореол святости не создан искусственным освещением. Доктор Янсен был святым города Смоленска, а потому и обреченным на особую, мученическую смерть. Нет, не он искал героическую гибель, а героическая гибель искала его. Тихого, аккуратного, очень скромного и немолодого латыша с самой человечной и мирной из всех профессий.

Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая детей. Он знал, что у него мало шансов выбраться оттуда, но не терял времени на подсчет. Внизу были дети, и этим было подсчитано все.

В те времена центр города уже имел канализацию, которая постоянно рвалась, и тогда рылись глубокие колодцы. Над колодцами устанавливался ворот с бадьей, которой откачивали просочившиеся сточные воды. Процедура была длительной, рабочие в одну смену не управлялись, все замирало до утра, и тогда бадьей и воротом завладевали мы. Нет, не в одном катании — стремительном падении, стоя на бадье, и медленном подъеме из тьмы — таилась притягательная сила этого развлечения. Провал в преисподнюю, где нельзя дышать, где воздух перенасыщен метаном, впрямую был связан с недавним прошлым наших отцов, с их риском, их разговорами, их воспоминаниями. Наши отцы прошли не только гражданскую, но и мировую, «германскую» войну, где применялись реальные отравляющие вещества, газы, от которых гибли, слепли, сходили с ума их товарищи. Названия этих газов — хлор, фосген, хлорпикрин, иприт — присутствовали и в наших играх, и в разговорах взрослых, и в реальной опасности завтрашних революционных боев. И мы, сдерживая дыхание, с замирающим сердцем летели в смрадные дыры, как в газовую атаку.

Обычно на бадью становился один, а двое вертели ворот. Но однажды решили прокатиться вдвоем, и веревка оборвалась. Доктор Янсен появился, когда возле колодца метались двое пацанов. Отправив их за помощью, доктор тут же спустился в колодец, нашел уже потерявших сознание мальчишек, сумел вытащить одного и, не отдохнув, полез за вторым. Спустился, понял, что еще раз ему уже не подняться, привязал мальчика к обрывку веревки и потерял сознание. Мальчики пришли в себя быстро, но доктора Янсена спасти не удалось.

— Рожайте, Эля.

Так в вонючем колодце погиб последний святой города Смоленска, ценою своей жизни оплатив жизнь двух мальчиков, и меня потрясла не только его смерть, но и его похороны. Весь Смоленск от мала до велика хоронил своего Доктора.

— А дома у него — деревянный топчан и книги, — тихо сказала мама, когда мы вернулись с кладбища. — И больше ничего. Ничего!

В голосе ее звучало благоговение: она говорила о святом, а святость не знает бедности.

Жизнь зверя — это время от рождения до смерти: звери живут во времени абсолютном, не ведая, что есть и время относительное. В этом относительном времени может существовать только человек, и поэтому жизнь его никогда не укладывается в даты на могильной плите. Она больше, она вмещает в себя ведомые только ему секунды, которые тянулись как часы, и сутки, пролетевшие словно мгновения. И чем выше духовная структура человека, тем больше у него возможностей жить не только в абсолютном, но и в относительном времени, и для меня глобальной сверхзадачей искусства и является его способность продлевать человеческую жизнь, насыщать ее смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, то есть сомневаться, чувствовать и страдать.

***О смысле жизни, о труде***

Это — о духовности, но и в обычной, физической жизни человеку отпущено «горючего» заведомо больше, чем нужно для того, чтобы прожить по законам природы. Зачем? С какой целью? Ведь в природе все разумно, все выверено, испытано миллионолетиями, и даже аппендикс, как выяснилось, для чего-то все-таки нужен. А огромный, многократно превышающий потребности запас энергии для чего дан человеку?

Я задал этот вопрос в 5-м или 6-м классе, когда добрел до элементарной физики, и решил, что она объясняет все. И она действительно все мне тогда объяснила, кроме человека. А его объяснить не смогла: именно здесь кончалась прямолинейная логика знания и начиналась пугающе многовариантная логика понимания. Я тогда, разумеется, этого не представлял, однако энергетический баланс не сходился, и я спросил отца, зачем-де человеку столько отпущено.

— Для работы.

— Понятно, — сказал я, ничего не понял, но не стал расспрашивать.

Это свойство — соглашаться с собеседником не тогда, когда все понял, а когда ничего не понял, — видимо, заложено во мне от природы. Житейски оно мне всегда мешало, ибо я не вылезал из троек, сочиняя свои теории, гипотезы, а зачастую и законы. Но одна благодатная сторона в этой странности все же была: я запоминал, не понимая, и сам докапывался до ответов. Сейчас уже не столь важно, что чаще всего ответ был неверным: жизнь требует от человека не ответов, а желания искать их.

Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня весь смысл существования. Это стало главной заповедью, символом веры, альфой и омегой моего мировоззрения. И стал я писателем, вероятно, совсем не потому, что рожден был с этаким блеском в очах, а потому лишь, что свято веровал в необходимость упорного, ежедневного, исступленного труда.

А вот о необходимости труда, о его красоте, чудодейственной силе и магических свойствах не говорилось никогда. О работе болтают бездельники: нормальные люди ее делают. Старательно, четко, аккуратно и скромно. Ведь работать, не крича о собственном трудовом рвении, столь же естественно, как есть не чавкая.

Порой мне с удивительной ясностью вспоминаются вечера моего раннего детства. Наша большая даже по тем временам семья — двое детей, мама, бабушка, тетя, ее дочь и кто-то еще — жила на паек отца и на его более чем скромную командирскую зарплату в тесном домике на Покровской горе, где ни у кого не было своей комнаты и никто, кроме меня, не спал в одиночестве. При домишке был огород, которым занимались все, потому что речь шла о хлебе насущном, и я знаю, как горят ладони, обожженные свежевыполотой травой, с того трепетного возраста, которому уступают места в метро даже мужчины.

Так вот, о вечерах. Осенних или зимних, с бесконечными сумерками и желтым кругом керосиновой лампы. Отец сапожничает, столярничает или слесарничает, восстанавливая и латая; мать и тетка тоже латают, штопают или перешивают; бабушка, как правило, тихо поскрипывает ручной мельницей, размалывая льняной или конопляный жмых, который добавляют в кулеш, оладьи или лепешки, потому что хлеба не хватает; сестры — Галя и Оля — попеременно читают вслух, а я играю тут же, стараясь не шуметь. Это обычный вечерний отдых, и никто из нас и не подозревает, что можно развалиться в кресле, вытянув ноги, и, ничем не утруждая ни единую клеточку собственного мозга, часами глядеть в полированный ящик на чужую жизнь, будто в замочную скважину. Для всех нас искусство — не только в процессе производства, но и в процессе потребления — серьезный, исстари особо уважаемый труд, и мы еще не представляем, что литературу можно воспринимать глазея, зевая, закусывая, выпивая, болтая с соседкой. Мы еще с благоговением воспринимаем СЛОВО, для нас еще не существует понятия «отдых» в смысле абсолютного безделья, и человек, который не трудится, заведомо воспринимается с отрицательным знаком, если он здоров и психически полноценен.

В «Толковом словаре» Даля нет существительного «отдых», есть лишь глагол «отдыхать». И это понятно: для народа, тяжким трудом взыскующего хлеб свой, отдых был чем-то промежуточным, сугубо второстепенным и несущественным. Отдых для русского человека — равно крестьянина или интеллигента — всегда выражался в смене деятельности в полном соответствии с научным его пониманием.

Когда же он превратился в самоцель? В пустое времяпрепровождение, ничегонеделание, в полудрему под солнцем? Мы и не заметили, как отдых стал занимать неправомерно много места в наших разговорах, планах и, главное, интересах. В нашем сознании «труд» и «отдых» как бы поменялись местами: мы работаем для того, чтобы отдыхать, а не отдыхаем, чтобы работать. И я не удивлюсь, коль в новом «Толковом словаре» «труд» перестанет быть существительным, а вместо него останется глагол «трудиться». «Трудиться» — заниматься каким-либо трудом с целью заработать денег на «отдых» (см.)».

Я столь запальчиво пишу об этом повальном бедствии нашем, потому что с детства был приучен глубоко презирать две язвы человеческого общества: идеализацию безделья и натужную, потную, лакейскую жажду приобретательства. Я понимаю, что неприлично ссылаться на собственную семью, но ведь я еду с ярмарки, а потому хочу низко поклониться тем, кто посеял во мне нетерпимость.

***О соотношении материального и духовного, об отношении к книге, вещизме***

Я вырос в семье, где господствовал рациональный аскетизм: посуда — это то, из чего едят и пьют, мебель — на чем сидят или спят, одежда — для тепла, а дом — чтобы в нем жить, и ни для чего более. Любимым присловьем моего отца было:

— Не то важно, из чего пьешь, а то — с кем пьешь.

Из этого вовсе не следует, что отец «закладывал за воротник»: он не чурался рюмочки, но до войны — только по праздникам, а после оной — еще и по воскресеньям. Он был беспредельно жизнелюбив и столь же беспредельно гостеприимен, но глагол «пить» подразумевал для него существительное «чай». Хорошо, если с мамиными пирогами, но пироги случались не часто.

Принцип рационального аскетизма предполагает наличие необходимого и отсутствие того, без чего спокойно можно обойтись. Правда, одно «излишество» у нас все же было: книги. Отца часто переводили с места на место, и мы привыкли собираться. Все переезды, как правило, совершались внезапно, громом среди ясного неба. Отец приходил со службы, как обычно, и не с порога, не вдруг, а сняв сапоги, ремни и оружие, умывшись и сев за стол, припоминал, точно мимоходом:

— Да, меня переводят. Выезжаем послезавтра.

И начинались сборы, лишенные лихорадочной суматохи, потому что каждый знал, что делать. Мне, например, полагалось укладывать книги. Возникла эта особая ответственность, когда я был ростом с ящик, но и тогда никто не проверял моей работы: родители старомодно считали, что недоверие унижает человеческую личность.

Это-то я теперь понял, что они так считали, а тогда, кряхтя и сопя — фолианты встречались! — осторожно снимал книги с полок, волок их к ящикам и старательно укладывал ряд за рядом. И дело даже не в том, что мне доверяли упаковывать единственную ценность не только нашей семьи, но и вообще всего человечества, как я тогда сообразил, — дело в том, что я физически, до пота и ломоты в неокрепших мускулах ощущал эту великую ценность. Я по детскому, первому, а следовательно, и самому прочному опыту узнал, сколь весом человеческий труд, завещанный людям на века. И, становясь перед книгами на колени — иначе ведь не упакуешь, — я еще бессознательно, еще не понимая, но уже чувствуя, становился на колени перед светлыми гениями всех времен и народов.

…Кажется, я так и остался стоять на коленях перед ЛИТЕРАТУРОЙ.

Совсем недавно — шестидесятые годы. В полном разгаре яростная борьба за престижность. Уже полушубки покупаются не для того, чтобы было тепло, а для того, чтобы было «как у людей». Уже на владельца мотоцикла смотрят с ироническим соболезнованием, уже с первых петухов занимают очередь за золотишком; уже пудами скупают книги; уже… Представьте же, а представив, вообразите, как навстречу этому потоку в кителе без погон, полотняной фуражке и сапогах невозмутимо едет на велосипеде участник четырех войн. Неторопливо крутит педали и едет. Навстречу. Не шоссейному движению, а мещанской суете. Вопреки — так, пожалуй, будет точнее.

…Я перестаю писать, потому что слезы мешают видеть. Не умиления слезы, не печали — гордости за дух человеческий. С какой спокойной мудростью отец не замечал холуйского стремления «достать», «добыть», «купить», «продать», а если суммировать — «чтобы как у людей». Чтоб жена в кольцах и дочь в дубленке, чтоб «сам» в машине, а дом — в книгах, которые никто не раскрывает. И какой же надо обладать душой, чтобы выдержать чудовищное давление пресса, имя которому — «как все»!

***Роль личности в становлении человека***

Конечно, воспитывает не только внешняя и внутренняя среда, а сумма самых неожиданных и труднопредсказуемых влияний, сумма авторитетов семьи, двора, улицы, детских и взрослых коллективов. Воспитание не профессия, а призвание, талант, дар божий. И этим благородным божьим даром была щедро наделена моя бабушка. Легкомысленная, никогда не унывающая фантазерка с детской душой, живостью и фигуркой девушки.

…Я сижу в большой комнате и, высунув от старания язык, раскрашиваю командирскими карандашами иллюстрации в пухлом комплекте «Нивы». Бабушка сидит рядом, курит длиннейшую махорочную самокрутку и раскладывает большой королевский пасьянс. Входит мама с плачем и пустой корзинкой.

— Беспризорники вырвали у меня весь наш хлеб!

Бабушка невозмутимо выпускает огромный клуб махорочного дыма (в ту пору еще не ведали, что курить вредно).

— Элечка, все трын-трава, испанский мох. Интересно, куда же мне девать девятку треф?

— Твое легкомыслие, мама, переходит все границы. Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня!

— Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня, а сколько дней его не видели эти немытые гавроши? Перестань лить слезы, Эля, и скажи, куда же мне девать эту несчастную девятку треф?..

Это — бабушка.

Если выдвинуть на середину комнаты самую большую кровать, а на нее положить кверху ножками обеденный стол, то получится корабль. А если попросить бабушку стать королевой, то она через минуту войдет в комнату царственной походкой и с короной на голове.

— Кто ты, о чужеземец?

— Я родом из Генуи, ваше величество, и зовут меня Христофор Колумб…

И тут появляется незапланированная мама.

— Боже мой, что происходит?

— Я отправляю в великое плавание Христофора Колумба, Эля, — торжественно говорит Изабелла Испанская. — Только на таких каравеллах и можно открыть еще не открытые Америки.

Это — бабушка.

***Роль искусства***

Учился я огорчительно и потому, что часто менял школы, и потому, что никогда не был усидчив, и потому, что отличался памятью, обладал изрядным запасом слов и быстро наловчился рассказывать не то, о чем меня спрашивали, а то, что я знал. Скажем, если вопрос касался Америки, я старался соскользнуть либо на Колумба, либо на Кортеса, либо на Пизарро. А рассказывать с бабушкиной легкой руки я навострился, на ходу сочиняя то, чего не было, но что могло бы быть. Это позволяло кое-как перебираться из класса в класс, а причиной всему была моя почти пагубная страсть: я читал. Читал везде и всегда, дома и на улице, во время уроков и вместо них. Читал все подряд, в голове образовалась полная мешанина, но постепенно все сложилось, я вынырнул из литературной пучины и смог оглядеться.

Годам к восьми я все знал о «Пещере Лейхтвейса» и тайнах тугов-душителей, о сокровищах Монтесумы и бриллиантах Луи Буссенара; я скакал за всадником без головы, отбивался от коварных ирокезов, рыл подземный ход вместе с Эдмоном Дантесом. Моими личными друзьями были Ник Картер, Джон Адаме и Питер Мариц, юный бур из Трансвааля. И обо всем этом я часами рассказывал в темных подвалах приятелям-беспризорникам, упиваясь не только самим рассказом, но и возможностью прервать его на самом интересном месте

— Пить охота.

И не признающая никого и ничего вольница бросалась за водой без всякого промедления. Я на практике познал то, что много позднее вычитал у Ницше: «Искусство есть форма властвования над людьми…»

Мы привыкли третировать литературу, так сказать, «низкого пошиба» куда с большим усердием, чем подобное ей в кино, на телевидении или в театре. Такова традиция, признак хорошего тона и т. п. Я все понимаю, я не стремлюсь быть оригинальным, но я хочу отдать должное этой, «низкого пошиба». И не только потому, что она учит уважать книгу и — выражаясь толстовским языком — «полюблять» ее, а потому, что она чиста в истоках своих. В ней всегда торжествует добро, в ней всегда наказуем порок, в ней прекрасны женщины и отважны мужчины, она презирает раболепство и трусость и поет гимны любви и благородству. Во всяком случае, такова была она, эта литература, в дни детства моего.

**Взросление человека**

…Если условиться под молодостью понимать возраст, а под юностью — период жизни, то наше поколение было лишено юности. Оставаясь молодыми — и даже очень молодыми! — мы перешагнули через юность не потому, что взяли в руки оружие, а потому, что взяли на себя ответственность за чужие жизни. Нет, мы не стали молодыми стариками — мы стали молодыми взрослыми. Ранняя ответственность совершенно по-особому оттеняет последующую жизнь — я дружу со многими солдатами, сержантами и офицерами той поры, — и все эти рано поседевшие мужчины сохранили в себе огромный запас веселого, шумного, подчас озорного детства, точно компенсируя этим украденную у них юность. Она стучалась в наши жизни, и не наша вина, что мы не могли распахнуть ей навстречу наши сердца. Мы многое потеряли, но у потерь есть одно хорошее свойство: они оттачивают память…

На примере своего поколения я берусь утверждать, что молодость — богатство старости. Ее можно растранжирить на удовольствия, а можно и пустить в оборот…